

Владимир  
СОФИЕНКО

г. Петрозаводск

## Бабочки в оконной раме



рассказ

Зима эта ничем не отличалась от многих предыдущих. Укрытый снежными шапками, стоял в оцепенении лес. Будто сдобные булки, залитые толстым слоем глазури, отдыхали от покосов совхозные поля. Белёное северное солнце опаловым ликом куталось в морозную дымку. Лениво катило оно по верхушкам сосен, озаряя низкое небо фиолетово-розовым светом. Спали окрестные лесные ламбы, скованные льдом, а оставленный рыбаками до весенней поры улов сонно шевелил жабрами в Окуньозере.

Посреди снежной стыни дремала и древняя Корза — деревня карельская, а название, говорили, от саамов<sup>1</sup>, когда-то живших в этих краях. Вдоль запорошенных снегом улиц находились потемневшие от времени бревенчатые дома с покосившимися стенами и сиротливыми оконцами в следах облупившейся краски на переплётках. За неумытыми стёклами виднелась старенькая мебель. Иногда в ясный погожий день заглянет в такой дом солнечный луч, будто ищет кого, скользнет по холодной русской печи, по лежанке, заваленной рваными ватниками и прочим барахлом, по задубелой резине сапог и выйдет вон, как гость непрошенный. Спят дома — ждут своих хозяев. Некому сон их нарушить. Лишь сороки порой устроят на крыше перебранку да холодной выюжной ночью на чердаке пустая рама испуганно пристукнет в слуховом окне.

Старый дом-пятистенок на улице Верхней, которая одним своим концом упирается в болото, а другим выходит в лес, был ещё крепок, хоть и стоял лет под сто. Его баюкала метель, завывала, сыпала в слепые окна колкой канителью. А Дом видел сны...

Далеко слышна гармонь — новоселье в Корзе. Кошка бежит по свежеструганым углам — ищет укромное местечко. А в доме-то шумно да весело — гостей много, гудят, хвалят, печью русской любят. «Terveh teile!»<sup>2</sup> — уважительно здороваются.

Коренастый бородач, первый среди гостей, деловито кашлянул в кулак:

<sup>1</sup> «Корза» с саамского — овраг возле ручья.

<sup>2</sup> «Terveh teile!» (карельск., ливв.) — «Здравствуйте!»

— У нас в Корзе завсегда рады добрым людям. Прижились вы у нас. На вот, Петро, топор плотницкий держи — в хозяйстве он перво-наперво! — протянул хозяину подарок. — А жене твоей, Ауликки, вот безделица! Да гляди, чтоб к следующей осени не пустовало! Люльку-то сам наладишь, — усмехнулся он в бороду.

И зашумела шутками и смехом захмелевшая компания, гляючи на стыдливо зардевшуюся хозяйку, принявшую от гостя кованое кольцо с длинным острым штырём на конце. Петро тут же умело вбил его в потолок под одобрительные возгласы.

И пошло гулянье! Хозяйка из жаркой печи вынимала калитки с пшеном, рыбники с судаком и чудные рёнттёсет — как финны пекли. Из холодного подпола приносила то ветчину, то солёные огурцы, капусту квашеную, солонину, лосятину, рыбу вяленую. Гуляли долго — целых три дня.

А вообще, веселиться местные любили и умели. Как заведено было, в праздники даже из Рубчойлы, соседней деревни, в Корзу приходили девчата и парни — пять вёрст не дорога для молодых да бойких — нечего подводу зря гонять. Шумно было, многолюдно, бурлила жизнь, звенела голосами и улица Верхняя.

...Дом смотрел мокрыми стёклами на первую свою осень: в лужах плавали бурые лодочки листьев, вечерами перемигивались подрагивающим желтоватым светом керосиновые лампы в окошках. А потом и зима пришла. Стали бани топить — те, что выстроились вдоль ручья окуньюзерского, будто бурёнки на водопой. Почёрному — с самой зари, чтобы засветло успеть помыться и бельё постирать — зимний день в Карелии скор на убыль. Топили долго, берёзой — валил дым из-под крыш приземистых построек. Отовсюду учуять можно было! В хлевах на первых этажах настороженно пряли чуткими ушами и недовольно фыркали лошади, тревожно блеяли овцы и мычали коровы.

Мимо окон Дома носилась по улице Верхней взбудораженная розовощёкая ребятня, забиралась в первые наметённые сугробы — пробовали на прочность. Тайком от взрослых срывали сосульки с козырьков бань, откуда валило берёзовым духом, и с наслаждением пробовали их на

вкус. В воздухе морозном и звонком от детского смеха стояла хмельная безотчётная радость, и ещё теплее становилось в Доме от этого.

Давно минуло то время. Раньше только на одной Верхней улице двадцать дворов было! В каждом — семьи, ребятишки да скотина без счёта... Теперь некому пригляд вести за хозяйством — молодёжь в город подалась, лишь в трёх домах горит зазывными маячками тот же желтоватый свет в окошках — приросли старожилы к своему месту, незачем им за лёгкой жизнью в город ехать, только и осталось ждать детей, внуков в гости.

Одряхтели постройки, просели, накренились к земле — того и гляди развалятся трухлявые венцы. Пустые дома, как старики, живут ожиданием. А только приедут хозяева — следы запустения будто венником смахнут вместе с многолетней пылью. Зазвучит дом скрипом дверей и половиц, голосами людей, засветятся окна, пыхнет печь — теплом согреет, раздражит запахами еды. А пока стоят они, потемневшие, покосившиеся, словно зубы в старушечьем рту. Тихо стало в деревне, уснула улица Верхняя, и Дом уснул.

Набравшись сил, с болота дунул ветер, обдал снежной крупой, в каждую трещинку проник. На чердаке что-то брякнуло, пристукнуло, скрипнула половица, будто под тяжёлым шагом. Не Петра ли поступь, не сети ли рыбацкие наверху развешивает?..

Уважали хозяина деревенские. Был он молчалив — лишнего не говорил, но, коль сказал чего, посулил, слово своё твёрдо держал. Душою отзывчив — мимо горя людского не проходил. От работы не прятался. Мало кто из мужиков мог угнаться за ним на сенокосе. Крепко стояло хозяйство его, вот и в совхоз позвали Петра в числе первых...

К тому времени три осени и три зимы минуло, как «отходил» Дом, венцами усаживаясь. В один из весенних дней много народу набилось к Петру — до самых краёв. Мужики толпились у настезь распахнутых окон, дымили самокрутками, бабы втихомолку судачили о своём, сплёвывая в кулак шелуху подсолнечника. Все слушали двух пришлых в потёртых кожа-

ных куртках. Приехали они в деревню издалека на шумной странной повозке, в которую не впрягали лошадей.

— ...Как говорил учитель мирового пролетариата товарищ Карл Маркс, «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям!»! О таком обществе мечтали ещё Джордано Бруно и Томмазо Кампанелла! — агитировал деревенских пришлый мужичонка маленького роста с пушком под носом и глянцевою розоватой кожей на щеках, как у мочёного яблочка. Говорил он быстро и напористо, как все городские. — ...По всем уголкам нашей молодой страны ветер Революции разносит радостную весть о строящемся справедливом обществе рабочих и крестьян, товарищи! — видимо, влекомый этим «ветром», мужичонка вскочил со скамьи и энергично вскинул руку с зажатой в ладони кожаной кепкой, будто сам являлся вождём пролетариата. — Долетел он и до вашей деревни, товарищи! Крепнет парус сознательности простого люда на корабле, идущем уверенным курсом в счастливое будущее! Вступайте в совхозы! — он окинул пылающим взглядом собравшихся мужиков и баб, остановился на хозяине дома, а тот отстраненно уставился в красный угол комнаты с киотом и лампадкой. — ...И первым такое право вступить в совхоз имеет Пётр Алексеевич, — продолжил агитатор, расплющив лицо в улыбке. — Что скажете, Пётр Алексеевич? У вас крепкое хозяйство, вам, как говорится, и петь первой скрипкой.

— А то и скажу: некогда мне петь, — буркнул хозяин, оглаживая мозолистой ладонью бороду, — хозяйство у меня. Те вступают пусть, кто сознательный, — у кого штанов в запасе нет.

— Думаете вы так от забитости поповской и безграмотности своей, — нашёлся агитатор, обращаясь не столько к хозяину дома, сколько к собравшимся, — вот поэтому мы с товарищем из Петрозаводска и приехали к вам с разъяснениями по просьбе самого товарища Гюллинга!

— Оно, может, и по безграмотности, — Петро зыркнул в сторону городских, в глазах его заплясали злые огоньки, — с Карлом Марксом спорить не буду — он в достатке рос, земли не пахал и скотину не содержал. Джордано Бруно и Кампанелла, как вы говорите, попами были. Одного сожгли, другой сумасшедшим, стало

быть, прикинулся. Ни тем, ни другим я быть не желаю. У меня детишек двое — их на ноги ставить надо.

— Петро у нас грамоте обученный, — кто-то шепнул уважительно за занавесью табачного дыма.

А тот по привычке кашлянул деловито в бороду, поднялся со скамьи и вышел на улицу.

Хозяина забрали осенью, перед первыми морозами. «Теперь в одних штанах ходишь, как сознательный», — зло сквозь зубы процедил конвоир. Убитая горем Аулики тихо плакала, прижав к себе притихших сыновей.

Хозяин обернулся, будто прощаясь, в последний раз окинул взглядом жену с детьми, родные стены и вышел во двор. Там Петра грубо пихнули на телегу, покрытую соломой, и она, скрипя несмазанными колесами, покатила по вмиг опустевшей улице Верхней. Больше он в Доме так никогда и не появлялся.

Вот и март заиграл солнечными деньками. Крыши, укрытые снежными шапками, искрятся крошкой горного хрусталя. Аквамарином отливают раскатанные ледяные дорожки, а вечером гранатом вспыхнет морозный закат. Чудеса! И вдруг затарахтело кругом, заскрежетало, лучи фар бесцеремонно проникли в тёмные окна Дома. По Верхней трактор колотит двигателем, снег гребёт, улицу чистит — скоро дачники сезон откроют.

...Много лет назад, ранним августовским утром 1941-го, скрежет разнесся над дремлющей Корзой, с каждой минутой он нарастал. По улицам, зловеще лязгая гусеницами, катил подбитый железный исполин с красной звездой на башне. Дрожала, как в лихорадке, земля, дрожали дома. Испуганно побрякивали стёкла в окнах, из-за занавесок показались тревожные лица.

Хмурилось небо, стягивая грозовые тучи, под порывами тугого ветра волновались яблоны, шумели листвой, уже тронутой кое-где осенними красками.

Выглянув в окно, расстроенная Аулики подошла к постели младшего сына. Один он с ней теперь остался — старших призвали в армию.

— Знать, нам с тобой беды не избежать, Пе-



тенька. Всю ночь со стороны Каменьнаволока громыхало. Вот и до Корзы война докатилась, — голос её дрогнул, она с нежностью погладила нервными пальцами светлую макушку их с мужем последыша. Он родился вскоре после того, как забрали Петра Алексеевича.

На следующий день в деревню вошли чухонцы — рослые, подтянутые, в униформе. От них пахло дорожной пылью и потом. Постучались и в дом Ауликки.

— Terve talo! — холодно поздоровался офицер, снимая фуражку.

Вроде как и слова те же, из мирной жизни, да не те. Не с добром переступил он порог. Говорил офицер на языке, похожем на карельский, но не на нём. А хозяйка незваного гостя хорошо понимала — недаром родом из Суоярви. Пытаясь унять дрожь, она сплела руки на груди и торопливо отвечала офицеру, бросая украдкой тревожные взгляды на печь. Офицер заметно оживился, услышав правильный диалект его родных мест, но, вспомнив, для чего он здесь, посуровел лицом, и его резкое «tuumiintarkastus!» привело в движение солдат, пришедших вместе с ним. С лежанки стащили испуганного мальчика, прятавшегося за занавеской. Ауликки кинулась было к сыну, но её грубо остановили. А Дом, казалось, похолодел весь, скрипнул половицами, словно зубами, загудел ветер в трубе: уходи, чужак, не трожь хозяев моих!

— Пустите меня к маме! — захныкал Петенька.

Ауликки, сложив ладони, будто перед образами, молила о чём-то офицера по-фински. Ещё с минуту тот размышлял. Закинув руки за спину, он покачивался с пятки на носок в начищенных до зеркального блеска сапогах, будто прислушивался к завыванию ветра в трубе. Когда он заговорил, голос его глухой, будто простуженный, звучал уже без ноток угрозы:

— Если бы не землячка, быть тебе с остальными! — он резко развернулся на каблуках и стремительно вышел.

Опустела улица Верхняя, приумолкла. У соседей сыновей и мужей, кого не призвали в армию, увели финны, но Ауликки повезло. Хотя скотину всё же забрали до последнего поросянка, её и сына не тронули, оставили и Дом.

Пошла жизнь в Корзе своим чередом — та, да не та. Бабы и редкие мужики, кого не взяли в

плен, вернулись к хозяйству. В опустевших домах квартировали солдаты. Страх гулял по улице Верхней, тревогой заглядывал в окна — с болота его разносило ветром по деревне. В мирное время кормило оно деревенских морошкой и клюквой. А теперь за ручьём на болоте сидели пленные. Пригнали их сразу же, как в Корзу вошли финны. Красноармейцев было не больше двенадцати, среди них и конвоир, что донос на Петра Алексеевича, мужа Ауликки, написал. Оборванные, грязные, голодные пленные сидели за оградой из колючей проволоки недалеко от топи — гиблого места. Быстро вытянуло из них болото жизненные силы... В тот дождливый промозглый вечер, когда за оградой стигнул последний красноармеец, закат был особенно красив. В тёмном небе, прикрытое фиолетово-розовой кисеей облаков, алело солнце. Оно казалось огромным и давящим, будто тяжесть этого дня всё ниже клонила его в топь. Вдруг, коснувшись края земли, брызнуло киноварью, вздыбилось, выгнуло аркой облака, раскрасило их радугой, будто дверь открылась на светлую сторону в стремительно чернеющем небе. Так и сияли радужным светом небесные врата, пока обессиленное солнце не скрылось за горизонтом и ночь не поглотила их.

Давно минули военные годы. Не во все дома вернулись с фронта мужики. Вот и Ауликки не дождалась старших сыновей. Однажды, собрав вещи, она уехала куда-то с младшим Петей. В Доме стали жить другие хозяева. При них всё реже пахло пирогами, чаще — горьким полынным запахом после безудержного пьяного веселья. Не стало скотины. Хозяйство пришло в упадок. Потом были другие люди и еще другие...

Наконец в Доме стал появляться дачник — пожилой мужчина. С ранней весны до поздней осени он жил в Корзе. Сажал картошку, ходил на болото, в лес, сушил на лежанке грибы, перебирал ягоды. Иногда по вечерам он доставал бережно хранимый чёрный кейс с блестящей латунной трубой внутри. Мужчина подолгу смотрел на инструмент, любуясь изящными очертаниями, поглаживал сухонькой ладонью с длинными гибкими пальцами, будто не решаясь взять, затем порывисто брал, вставлял мундштук и подносил к губам. После короткого арпеджио

он вставал к раскрашенному закатом окну, чуть прикрывал увлажнившиеся глаза и играл. А Дом слушал немного печальную мелодию и плакал мокрыми окнами. Зимой он берёт урожай в подвале и жил теми редкими погожими деньками, когда к нему навевался музыкант. Иногда тот оставался на ночлег, и Дом, укутав заботливым теплом русской печи, сторожил его сон. Вот уже целых восемь лет хозяин не приходил к нему...

Первая капель. Всё пришло в движение. Вскрылись ото льда реки и озёра. В лесу в распадах и ложбинах ещё не сошёл грязный, с прошлогодней осыпью ноздреватый снег, но воздух был уже напоён пробуждением земли, очнувшейся от зимней спячки. Потянулись в родные края долгожданные клинья птиц. Вожаки, утомлённые длительным перелётом, радостно приветствовали северную землю, где птенцами ставили их на крыло родители.

Солнышко пригрело крыши, просушило венцы. Земля и деревья ожили зелёной молодью. Вздохнула, задышала полной грудью природа после зимней спячки. Под крышами домов вьют гнёзда ласточки. Прогретый солнцем воздух наполнился писком, гудением, жужжанием, зазвенел голосами лесных птиц. Потянулись дачники с граблями и лопатами.

В бывшей школе на улице Верхней окна нарядились занавесками, заморгали жёлтым светом, словно извиняясь: прости, мол, старый товарищ, но у меня теперь другая забота — хозяйва вернулись. А Дом, погруженный в беспокойную тишину, по-прежнему чутко спал. Давно не раздавалась в нём поступь шагов, весёлое бряцанье вёдер в сенях, уютное потрескивание дров в печи. Тишина. Ни звука. И музыка умолкла на восемь лет.

Правда, был у Дома маленький секрет: в двойной оконной раме поселились бабочки. Каждую весну, когда солнце хорошенько пригревало, они просыпались и радовали беззаботным танцем. Вот и сейчас тихонько шуршали пёстрыми бархатными крылышками, будто перешёптывались, бабочки — утешение одинокому старику.

В один из дней на крыльчке послышались чьи-то шаги. Может, почудилось? Вот скрипнула ступенька. Вот и замок навесной слетел с петли на двери.

— Terveh teile! — (не может быть, это голос музыканта!)

— Terveh teile, — послышались чужие голоса.

— Вот моё хозяйство, проходите, пожалуйста, я вам всё покажу. Снаружи вы видели дом. К сожалению, хозяйственная часть была утрачена: бывшие владельцы венцы раскатали на дрова — пили они, — словно извиняясь, сказал музыкант.

— Это ничего, геометрия хорошая — прочный дом, — со знанием дела произнёс гость, подперев головой потолок в сенях, — вот только потолок низковат, — улыбнулся он.

— В комнатах потолок выше, вам удобно будет, — поспешил заверить его хозяин.

Встрепенулся Дом, скинул дрёму. Вот так дела! Знать, других хозяев нужно ждать, коль на смотрины водят.

— Юрий Алексеевич, а почему дом решили продавать? — поинтересовалась спутница рослого гостя.

— Я ведь трубач, духовик, — смутившись, ответил он, — с лёгкими у меня не всё в порядке — это профессиональное. Мне климат нужен морской — вот и перебрался на Украину, в Крым. Всё гражданство думал сменить. А теперь, когда Крым снова российский, не придётся, — и, поразмыслив немного, добавил: — Тяжеловато мне стало с хозяйством управляться — ведь мне уже восьмой десяток идёт, а как хозяйки моей не стало, так живу бобылём, — тряхнув седой головой, отгоняя грустные мысли, нарочито бодрым голосом продолжил: — Сюда, по лестнице наверх, проходите. Ну, вот здесь я и жил... — Юрий Алексеевич с теплотой обвёл взглядом стены комнаты, обклеенные старенькими розовыми обоями, кое-где вздутые пузырями.

С улицы, топоча быстрыми ногами, в Дом вбежали двое мальчишек.

— Мама, папа, там качели есть! Можно мы покачаемся? — наперебой затараторили они.

— Хорошо, идите покачайтесь, пока мы с Юрием Алексеевичем обсудим всё.

Дети! Как давно в Доме не раздавался детский смех, топот босых ножек по деревянным плахам-половицам! Неужто он снова оживёт дыханием русской печи и, как прежде, будет в нём стоять запах пирогов!

Встрепенулись, забились в оконной раме бабочки, полощут бархатом крылышек по стеклу.

— Ой, Вова, смотри! Русская печь! Я давно мечтала о такой! — обрадовалась гостя. — Пирог в ней м-м-м..! — мечтательно протянула женщина, прикрыв глаза.

Печь! Конечно же, печь! Дом замер в ожидании, лишь пришедшие в движение бабочки поднимались выше, заполняя собой всё пространство оконной рамы, — будто картина вдруг открылась взгляду гостей.

— Мама, папа, смотрите — бабочки! Какие красивые! А как они попали туда? — дети подбежали к окну, разглядывая, как приветственно помахивали им разноцветными крыльями луговые красавицы.

— Сам не пойму, — удивлённо вскинул брови Юрий Алексеевич.

— Это хорошо, что у вас печь сохранилась. Вы знаете, мы с мужем любим предметы старины, собственно, и дом этот решили приобрести поэтому. Может, у вас сохранилось что-нибудь? Утюг или самовар угольный?

Обязательно есть! На чердаке сундук кованый стоит. В нём Аулики приданое хранила, а на двери, что ведёт на чердак, утюг угольный вместо пружины как противовес висит, и подкову найти можно, и гвозди кованые четыре штуки под соломой упрятаны, да мало ли чего ещё! Обо всём этом музыкант мог и не догадываться — тот редко заглядывал туда, а Дом берег

свои богатства в память о прошлой своей жизни. Он раскроет гостям все свои секреты, но это будет потом. А сейчас, что он может показать сейчас? Кольцо! Как же он мог забыть про кольцо в спальне?! И бабочки снова обеспокоенно забились в окне.

— Пожалуй, только кольцо, — пожал плечами музыкант, поняв, наконец, что именно от него требуется. — Оно в спальне вбито в потолок. Раньше к нему подвешивали люльку с младенцем.

Гостя оживилась и, взяв мужа за руку, ступила на порог спальни. В потолке виднелось кованое кольцо. Вбито оно было прочно, сидело основательно. Его металлическая неровная плоть была в мазках краски многих цветов — отметиных времени. Кольцо наполовину поглотила потемневшая от времени вагонка, будто след былого, еще проглядывающий из глубины веков.

Глаза гостя вдруг наполнились светом и радостью. Она с нежностью посмотрела на своего мужа и, улыбнувшись, сказала:

— Вот только люльку смастерить осталось.

Музыкант лишь теперь обратил внимание на её округлившийся животик.

□

### **Владимир Геннадьевич СОФИЕНКО**

*родился в 1968 году в г. Темиртау (Казахстан).*

*Окончил Карельскую государственную педагогическую академию.*

*Психолог-тренер.*

*Пишет прозу.*

*Автор книг «Ожидание в 2000 лет», «Под солнцем цвета киновари»,*

*«Смотритель реки», «Жизнь по зёрнышкам».*

*Организатор*

*международного литературного фестиваля «Петроглиф».*

*Живет в Петрозаводске.*

